

**Л. Чарская**

# **Золотая рота**

**Москва  
«Книга по Требованию»**

УДК 82-053.2  
ББК 84-4  
Ч-22

Ч-22      Чарская Л.А.  
Золотая рота / Л. Чарская – М.: Книга по Требованию, 2021. – 94 с.

**ISBN 978-5-4241-2949-0**

Повесть для юношества

**ISBN 978-5-4241-2949-0**

© Издание на русском языке, оформление  
«YOYO Media», 2021  
© Издание на русском языке, оцифровка,  
«Книга по Требованию», 2021  
© Л.А. Чарская, 2021

Лидия Чарская  
Полное собрание сочинений  
Том сороковой



Повесть для юношества  
С рисунками

# Золотая рота

## Глава первая

Марк лежал на траве и смотрел в небо, по которому бежали облака, похожие на куски ваты. В сердце Марка царили мгла и обида. А над головой его солнце близилось к закату.

Правая щека Марка горела, и это пятно на лице выжигало все светлое, доступное юности. Но у Марка Ларанского, несмотря на его восемнадцать лет, не было ни юности, ни детства. И он не жалел об этом. Он ни о чем никогда не жалел ни юношей, ни ребенком. И сейчас обида вытесняла из его души все остальные чувства.

Красное пятно на щеке, след пощечины, казался ему неизгладимым на всю жизнь. И сознавая свое бессилие уничтожить роковое клеймо, Марк только сжимал кулаки и скрипел зубами, в то время как смуглое лицо его с неправильными чертами и толстыми, как у негра, губами подергивалось, делая его безобразным.

Всю жизнь его били, жестоко и упорно, как бьет непокорных животных членов.

И когда однажды во время побоев черные глаза Марка сверкнули из-под густой, мелко вьющейся шапки волос, тогда его перестали бить, признав в нем силу. Побои прекратились, но обида осталась.

Напротив, с каждым годом она разрасталась, крепчая и распаляясь по мере нарастания новых обид, еще более мучительных, нежели побои. Да и память о побоях не могла примирить его с теми, кто выжег в нем все лучшее с детства. Стыд, боль и бессилие вырвали из него крохи достоинства, и постепенно Марк становился диким животным, готовым показать клыки.

Так он жил, получеловек-полузверь, тая в себе ярость, презрение к окружающим, и его поступки, подчас злые, сеяли новое семя раздора с людьми.

Его перестали бить оттого только, что он был достаточно уже силен, как молодое животное, он понял это инстинктом. Теперь он был в безопасности, с тех пор как окрепло его мускулистое, упругое тело.

И вдруг новая обида, затмившая собою все прежние побои и оскорблении, прожгла его насквозь, перевернула все его существо, существо недоразвитого морально восемнадцатилетнего ребенка, озлобленного и лживого, жестокого и мстительного, настоящего дикаря.

И Марк не мог вынести этой пощечины, она душила, слепила, доводила до отчаяния, заставляя кататься по земле, грызть почву и рычать.

В первую же минуту оскорбление показалось ему вдвое нестерпимее оттого, что он, Марк, не заслужил его.

О, с каким наслаждением дал бы он исполосовать все свое тело плеткой, лишь бы не горела его щека! Все остатки человеческого поднялись в нем, взывая к мщению.

Его черные глаза горят, как у волка. Полные губы полуоткрыты, обнажая хищно выглядывающие острые белые зубы. Ноздри вздрогивают. Сошедшиеся на переносице брови делают лицо Марка отталкивающим. Что-то накипает в

груди, что-то тяжелое подступает к горлу и давит, давит так, что еще немножко, и он, Марк, задохнется. И он упорно смотрит на солнце, близящееся к закату.

Вот оно отвечает ему своей улыбкой, великолепной и одинаково ровной для всех. И точно само ждет его улыбки, царственное и милостивое, как всегда.

Но Марк не может улыбаться. Мрак гущается в его глазах.

— Кто виноват?! — кричит он. — Кто виноват?!

Но солнце молчит. Ему нет дела до людей.

И Марк со злобой отворачивается от него. Потом взор его, с трудом оторвавшись от неба, направляется к стеклянной холодной красавице, важно несущей вперед зеленоватые воды. Марк давно и близко знает Неву. Как только он начал помнить себя, с первых же дней раннего детства. Как только научился он различать предметы, он помнил, что она бежит из темно-синего озера вперед к холодному заливу, который, сливвшись с нею на мгновение, отдает ее морю. Она все жалуется и стонет в своих берегах, похожих на обрывы, и в ее жалобном ропоте Марку слышится иногда шепот:

— Бедный Марк... Бедный Марк.

Иначе она и не может шептать, потому что Марк действительно несчастлив, и никто не может ни понять, ни любить его.

И в новом приливе отчаяния Марк зарывается в траву и смотрит в сторону, противоположную городу и озеру. Слева шумная, шипящая неугомонными котлами и машинами фабрика, а там, за нею зеленеют сосны и желтыми бликами сверкает песок в обнаженной почве обрыва. Там, дальше кладбище — тишина и спокойствие, вечный сон без боли, грез и желаний. Там затишье смерти и бессилие человеческой власти над себе подобными.

Власть... побои... пощечина... И опять пощечина...

Марк поднимает руку к лицу, дотрагивается до багрового пятна на щеке и отдергивает пальцы, точно обжегшись.

— О-о, — стонет он и грозит кулаком в сторону фабрики. — Не забуду я, не забуду. Никогда, никогда, никогда!

\* \* \*

Марк не был виноват. Сын управляющего фабрикой, молодой здоровый красавчик Глеб сказал ему утром:

— Знаешь-ка, я придумал славную штучку, пойдем.

И они пошли вниз под обрыв, прямо к реке.

Фабрика осталась за ними. Сбоку виднелось кладбище. Кресты и зелень Марк заметил сразу. Он понимал природу первобытно и светло, как дикий ребенок, считая ее заодно с собой.

Глеб, держа его за руку, обогнул мыс, выступающий в реку под самым кладбищем, и остановился.

Прямо перед ними прыгали и барахтались четыре белые фигурки по пояс в воде, с веселыми лицами, обращенными к берегу.

Это были три дочери управляющего фабрикой Лаврова, родные сестры Глеба. Вместе с ними купалась и дочь надсмотрщика из сортировочного отделения ситцев, Лиза Дорина, старшая из них, девушка лет восемнадцати-двадцати. Сестры Глеба казались совсем ребятами с их худенькими телами, как у подростков. При виде брата и Марка они стыдливо взвизгнули и ушли по горло в воду.

Теперь из воды торчали только круглые головки в желтых резиновых колпаках, казавшихся золотыми при ярком освещении полдневного солнца.

Лиза — полная, здоровая блондинка — первая нырнула и через миг выплыла в стороне, у большого камня с мокрой верхушкой.

Глеб расхохотался и, указывая Марку на них, кричал:

— Ага! Попались! Будете бегать без спросу? Отец не позволил купаться в открытом месте, а они постоянно поделяют это втихомолку, — пояснил он Марку и тем же смеющимся голосом крикнул, обращаясь к реке: — Пеняйте на себя, голубушки, а платье ваше я унесу домой как вещественное доказательство вашего непослушания. Да! Чтобы раз навсегда отучить вас от глупостей.

И, присев на береговой камень, он нагнулся, сгреб небрежно кинутое платье купальщиц в кучу. Подмаял все под себя и, вынув из кармана папиросу, с наслаждением затянулся ею, не сводя глаз с реки.

Испуганные девочки ушли глубже в воду и ругались.

Три младшие, Анна, Китти и Даня, из которых старшей было шестнадцать лет, кричали сердитыми, визгливыми голосами. Красивая Лиза Дорина, хорошо известная всей фабрике за свою веселость и звонкий смех, стояла в самом глубоком месте и молча выжидала. Только синие глаза ее, перебегавшие от Глеба к Марку, растерянно и часто мигали.

Глеб курил и посмеивался себе под нос.

Марк не смеялся.

Девочки, ушедшие по горло в воду, ничуть не казались ему смешными, да и вообще он мало обращал внимания на них. Его занимала река в ярком освещении, позлащенная и прекрасная.

Ему часто приходилось видеть купающихся молодых фабричных работниц, и он равнодушным взором следил за ними.

Он привык встречать наготу всюду: и в реке, и среди улиц в поздний час, и в фабричном трактиричке, куда таскал его за компанию Глеб. И Марк привык к наготе, не замечая ее.

Он был так же чист, как и дик душою, несмотря на товарищество Глеба. Его воображение спало, и час его не пробил еще.

И потому ни три девчурки Лавровы, ни Лиза Дорина не интересовали его.

Напротив того, река заняла все его мысли. Он чувствовал ее как-то остро сегодня. И ее шепот: «Бедный Марк». И вздыхала она ровно и глубоко, и каждый вздох ее казался вылитым из металла.

Что-то жуткое было в ее недоговоренности, во всей ее прозрачной тайне, неизведенной, как смерть.

Марк замер без дум над давно знакомой ему картиной и вдруг вздрогнул от взгляса Глеба, спугнувшего его настроение.

Глеб уже не смеялся. Девочки в реке не бралились больше.

— Ладно, — срывалось с губ молодого Лаврова, — ладно, пощады просите? Будь по-вашему. Отец ничего не узнает. И платье я вам отдам тотчас, лишь только... Лиза придет за платьем ко мне на берег.

Едва он успел докончить свою фразу, как девочки всполошились и затрещали, как сороки. Они говорили так быстро и визгливо, что трудно было разобрать что-нибудь.

Только голова Лизы по-прежнему оставалась без движения у камня, в то

время как остальные три головки во влажных чепцах сошлись в одну минуту в реке и почти соединились одним тесным кругом.

Средняя из сестер, Китти, закричала:

— Ты слышала этого дурака, Лиза. Выходи же на берег и отними у него платье.

Но Лиза только отрицательно покачала головою. Потом ее звучный голос задрожал над рекой:

— Что еще выдумаете! Срамницы!

И, помолчав с минуту, она добавила по адресу Глеба:

— Не балуйтесь, отдайте платье. Ну что, в самом деле? Отдайте!

Но Глеб только снова рассмеялся в ответ:

— Дурочка. Выходи скорее. Никто тебя не съест, ей-Богу!

Девочки снова затрещали все разом. Наконец они утихли, и снова послышалася над водою голос Китти, смягченный, просящий:

— Слушай, Глеб. Не будь дураком, пусть уйдет Марк, и я выйду из воды и сама возьму платье.

— Нет-нет, — захохотал Глеб. — Нет-нет, тебя не надо, я не согласен: или пускай сама Лиза придет за тряпьем, или я швырну его в реку, даю тебе слово!

— Подлый мальчишка, — взвизгнула Китти и, подплыв к Лизе, заговорила раздраженно:

— Слушай, Лиза, ступай на берег. Ну, ей-Богу же, ступай. Что тебе? Не тебе будет стыдно, а ему же. А то отец узнает. И холодно... И потом... Ах, Лиза, Лиза! Всем нам достанется. Пожалуйста, ступай. Голубушка, милая!

— Да, да, Лиза! Голубка! Пожалуйста! — запищали Анна и Дания.

Но Лиза по-прежнему молчала и только покачивала в ответ головою в желтом чепце. Ей не хотелось сдаваться так скоро. И не то чтобы ей было обидно предложение Глеба или она особенно стыдилась его. Нет.

Лиза Дорина была настоящей дочерью своей среды, того фабричного люда, среди которого вращалась с первых же дней детства.

Вместе с едким дымом, извергающимся из мощного фабричного горла и въевшимся ей в поры, вкоренились в нее и те своеобразные принципы фабричных убеждений и условностей, которыми кипела окружающая жизнь.

Но ей хотелось поломаться перед «господами», показать минутную власть над всей этой детворой, над этими «хозяевами», которых она искренно презирала и без которых не могла обойтись.

Китти первая угадала ее мысли. Лукавая девочка, не по годам развитая и уже испорченная среди взрослых подруг, вмиг разгадала ее. И, дрожа от скрытого гнева, глядя почти с ненавистью на Лизу, она произнесла:

— Лиза, милушка, ступай. А за это я тебе брошку мою отдам, знаешь, ту, коралловую, с голубками... Лиза!

И Китти сердито заплакала. Ей было жаль брошки, и в то же время становилось холодно и неуютно в реке; потом, каждую минуту отец мог выйти на террасу дома и увидеть их купающимися на открытом месте.

А Китти боялась отца, несмотря на то что он никогда не наказывал их, не бранил.

Отец Лавровых был целиком предан своему единственному детищу — фабрике, которой отдавал все свое сердце и время.

И тем не менее, дети, особенно девочки, трепетали перед ним и его стальным

взглядом.

И чтобы избежать этого взгляда, Китти снова затянула слезливым тоном:

— Ну, согласись, Лиза, голубушка, милая! Ведь брошка, ей-Богу, прехорощенская. Даня! Анна! — окликнула она сестер. — Правду ли я говорю?

Болезненная Анна с худеньким, золотушным лицом, не ответила сестре. Ей было холодно.

Зато миловидная двенадцатилетняя Даня радостно подхватила слова сестры:

— Еще бы не прелесть! Чудо, что за хорошенъкая!

Но Лиза Дорина и без них уже успела мысленно оценить достоинство брошки.

Соблазн был слишком велик. И она решилась.

Взглянув на девочек, потом на берег, она слегка высунулась из воды, обнажая плечи, потом внезапный густой румянec залил ее щеки, и Лиза стала хорошенъкой, как никогда.

— Бесстыдники вы! — крикнула она Глебу и сорвала с головы желтый чепчик.

Она шагнула к берегу по колено в воде, как русалка, опутанная волосами, казавшимися теперь золотыми в ярких лучах полуденного солнца.

Марк взглянул на нее, на ее золотистые волны волос, и вдруг острый укол ярости вонзился в его сердце.

Сжав кулаки и закусив до боли губы, он взглянул на Глеба.

Глеб курил, поджидая девушку. Но в глазах его переливалось что-то недоброд. И губы Глеба, скимавшие папироску, заметно подергивались у углов. И лицо его было бледно и странно.

И взглянув пристальнее в это лицо, Марк перевел глаза снова на Лизу, и мигом к чувству ярости примкнула обида, обида за ее покорность и бессилие.

Он задрожал, готовый броситься на Глеба и смять его.

Нечто подобное Марк испытал однажды в детстве, когда при нем жестоко избили дворовую собаку. В его сердце болезненно отзывался тогда каждый удар, предназначенный животному. Ее визг терзал ему сердце, сгоравшее от боли и стыда. Торжество силы одного над слабостью другого доводило Марка почти до безумия.

И сейчас он почувствовал в себе тот же прилив бешенства, глухого и бессильного, как шумящий поток. И точно обезумел.

Ему захотелось оскорбить Глеба, чувствительно и метко, цинично и мучительно, ему хотелось прибить Лизу, принизить эту бьющую, сверкающую красоту за то только, что она не умела сбросить с себя своего постыдного бессилия. Но гнев, клокотавший в горле, путал его мысли и уродовал слова, срывающиеся с губ резкими, невнятными звуками.

Наконец, сделав над собою невероятное усилие, с багровым румянцем на щеках, он исступленно крикнул в упор, в самое лицо Глеба:

— Скотина!

И с воем метнулся прочь от берега, назад к обрыву, от этого проклятого Глеба и беспомощной Лизы, унося в себе почти нестерпимую боль обиды и ярость, беспредельную ярость, едва умещавшуюся в его исступленной душе.

Вечером отец подозревал его и спросил с тем страшным, ледяным спокойствием, которое всегда предшествует гневу:

— Что ты сделал?

Но Марк не знал вины за собою, и потому молчал, глядя исподлобья на отца с видом затравленного зверя, готового защищаться и ненавидеть.

И вот звонкий свистящий удар обжег его щеку и почти лишил сознания.

Потом ему сказали его вину: он сманил сына управляющего смотреть на купающихся и оскорбил его бранью.

Марк не оправдывался. Он понял подлую ложь Глеба и не удивлялся ей.

Здесь, в этом маленьком городе, лгали все от мала до велика: и на фабрике, и за черными шлюзами каналов, и у сине-темной Ладоги, над которой кропотливо и упорно облитые потом гоныщики тянули барки и беляны по ровным, как лента, берегам каналов.

Лгала фабрика, лгала жизнь, лгали окружающие, лгали, борясь за право существования, из-за куска хлеба и тех грошей, которые так тщательно береглись за несколькими замками для того только, чтобы, выглянув из-под них, разойтись по миру, сея новую ложь, распри и пороки. И лгали зря, просто и бесцельно, потому только, что ложь была в мире и в них.

И оттого они и казались Марку воплощением зла и неправды.

И он ненавидел их, как ненавидел мир. Целый мир...

\* \* \*

Солнце село. Марк не заметил, как оно садилось, багровое, почти кровавое на западе, как оно опустилось в реку, которая жадно проглотила его в своих быстрых струях. И сосны на противоположном берегу Невы стали еще стройнее на горизонте. И воздух стал как будто свежее. И дрожащая зыбь его казалась хрустальнее. От реки потянулся легкий, почти неуловимый запах, чуть отдаленно напоминающий запах тления. Белые кувшинки медленно закрывались, смятенные и радостные в ожидании вечера.

И вечер наступил.

Марку следовало идти домой, на фабрику, в здание конторского домика, где он родился и вырос, где жил его отец, где его били, брали и запугивали в детстве и презирали в ранней юности.

Туда он должен был идти, потому что наступила ночь.

Марк любил ночь больше дня, гораздо больше. Ночью, когда люди спали, их темные дела спали вместе с ними.

Он ненавидел свет, освещавший все их дурные, грязные поступки. Его неудержимо влекло в темноту, и родись он, Марк, несколько тысячелетий назад, он не пошел бы к людям, а зарылся бы в чреве земли и стал бы пещерным человеком, потому что свежесть земли заглушала бы запах тления ему подобных.

Хороших людей Марк не знал. Он слышал от других, что есть такие люди, но где живут они и как найти к ним путь и проложить дорогу, он не знал, да и не стремился узнать.

Черная туча, кружавшаяся вокруг Марка, поглощала его постепенно, порок был кругом него, он западал и в его сердце, сердце получеловека, одинаково открытое для добра и зла.

А когда порок пересиливает в своем господстве, все светлое сторонится, уступая ему дорогу. Когда-то, когда его и не было (или так, по крайней мере, казалось Марку, что его не было когда-то), весь большой мир казался ему прекрасным.

Но он, Марк, был тогда ребенком. И это был сон, наверное, ослепительный и яркий, отдающий сказкой.

Когда-то давно, очень-очень давно, а может быть, и во сне, он помнит, как белая красивая женщина с печально-строгими глазами стояла над его кроваткой и пела о чем-то прекрасном и сказочном, чего не понимал ребенок-Марк, но что западало ему в душу помимо воли, вместе с теплом и светом, исходящими от сердца белой женщины.

И у белой женщины были такие же длинные волосы, золотые и нежные, как у Лизы Дориной, и Марк хорошо помнит, что от них всегда пахло свежестью и цветами.

И уже много позднее кто-то повел его на угрюмое песчаное кладбище, сплошь заросшее сосновами, и, останавливаясь над желтым холмиком, обвитым иммортилями, сказал:

— Тут лежит твоя мать.

Тогда Марк понял, что у него была мать, и, странное дело, почувствовал при этом не тоску, а радость, потому что иметь мать значило иметь детство и ласку, хотя бы кратковременную и мимолетную, как сон.

И потом началась та пытка, которую люди называют жизнью и которой не предвидится конца.

Отец пил и дрался... Смерть белой женщины подняла в конторщике Ларанском все позабытые слабости молодости и вылила наружу то обилие темной силы, которая таилась в нем.

Белая женщина сумела было подавить в своем друге пагубные привычки и своей нежной, хрупкой рукой отвела его от той бездыны, к которой тот стремился. Но белая женщина, несмотря на всю силу своей любви, не могла осилить природы.

Природа победила ее друга, победила, как страшный зверь, тешась над ее бессилием отнять у нее раз намеченную жертву. И белая женщина отступила, покоренная ею.

Она погибла. И смерть ее, развязавшая руки Ларанскому, вернула его к той непроглядной мгле, куда властно вели его инстинкты.

Конторщика Ларанского ценила фабрика.

Администрация ситцевой мануфактуры отлично понимала, что за те жалкие гроши, которые получал этот темный, но, бесспорно, честный и прямой человек с жестким складом ума и сердца, нельзя требовать большего.

И слабость его знали, относясь снисходительно к ней.

К тому же он имел привычку пить тогда, когда обычные подсчеты выдач и выручек заканчивались за день, и пьяным Ларанского мог видеть разве один только Марк, его сирота-ребенок.

Марк унаследовал от отца его угрюмую, жесткую настойчивость, его почти животное упорство и мысли, и поступки, и болезненную мстительность дикого, озлобленного дитята.

Но белая женщина, умирая, оставила в нем частичку самой себя в виде капельной дозы чуткости, скорее вредившей, нежели помогавшей стройности душевного инстинкта Марка.

Он рос один, на свободе, среди таких же маленьких дикарей, родителей которых, как отцов, так и матерей, despoticично отнимала та же фабрика, с тем чтобы